

РАССКАЗЫ
О СЧАСТЬЕ



русская
классика

Александр Иванович Куприн
Антон Павлович Чехов
Иван Алексеевич Бунин
Леонид Николаевич Андреев
Рассказы о счастье.
Русская классика
Серия «Теплое чтение»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73945117

*Рассказы о счастье. Русская классика / Александр Куприн, Антон Чехов, Иван Бунин, Леонид Андреев.: Эксмо; Москва; 2026
ISBN 978-5-04-247091-2*

Аннотация

Счастью не верь, а беды не пугайся! Герои А. Чехова, И. Бунина, А. Куприна и Л. Андреева редко связывают счастье с богатством и внешним успехом. Здесь не найти легкой жизни, но счастье возьмет, да и заглянет к истинным труженикам и праведникам земли русской.

Содержание

Антон Чехов	6
Счастье	6
Женское счастье	20
Перед свадьбой	25
Конец ознакомительного фрагмента.	30

**Александр Куприн,
Антон Чехов, Иван
Бунин, Леонид Андреев
Рассказы о счастье.
Русская классика**

Серия «Теплое чтение»

Изразец на обложке предоставлен керамической мастерской «Москерамика»

Художник изразца: *Вольская Ирина*

Автор художественного образа серии, дизайн макета –
Мария Клава-Янат



© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

АНТОН ЧЕХОВ



Счастье

Посвящается Я. П. Полонскому

У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала отара овец. Стерегли ее два пастуха. Один, старик лет восьмидесяти, беззубый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой дороги, положив локти на пыльные листья подорожника; другой – молодой парень, с густыми черными бровями и безусый, одетый в рядно, из которого шьют дешевые мешки, лежал на спине, положив руки под

голову, и глядел вверх на небо, где над самым его лицом тянулся Млечный путь и дремали звезды.

Пастухи были не одни. На сажень от них в сумраке, застилавшем дорогу, темнела оседланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло, стоял мужчина в больших сапогах и короткой чумарке, по всем видимостям, господский объездчик. Судя по его фигуре, прямой и неподвижной, по манерам, по обращению с пастухами, лошадью, это был человек серьезный, рассудительный и знающий себе цену; даже в потемках были заметны в нем следы военной выправки и то величаво-снисходительное выражение, какое приобретается от частого обращения с господами и управляющими.

Овцы спали. На сером фоне зари, начинавшей уже покрывать восточную часть неба, там и сям видны были силуэты не спавших овец; они стояли и, опустив головы, о чем-то думали. Их мысли, длительные, тягучие, вызываемые представлениями только о широкой степи и небе, о днях и ночах, вероятно, поражали и угнетали их самих до бесчувствия, и они, стоя теперь как вкопанные, не замечали ни присутствия чужого человека, ни беспокойства собак.

В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум, без которого не обходится степная летняя ночь; непрерывно трещали кузнечики, пели перепела, да на версту от отары в балке, в которой тек ручей и росли вербы, лениво посвистывали молодые соловьи.

Объездчик остановился, чтобы попросить у пастухов огня

для трубки. Он молча закурил и выкурил всю трубку, потом, ни слова не сказав, облокотился о седло и задумался. Молодой пастух не обратил на него никакого внимания; он продолжал лежать и глядеть на небо, старик же долго оглядывал объездчика и спросил:

– Никак Пантелей из Макаровской экономии?

– Я самый, – ответил объездчик.

– То-то я вижу. Не узнал – богатым быть. Откуда бог несет?

– Из Ковылевского участка.

– Далече. Под скопчину отдаете участок?

– Разное. И под скопчину, и в аренду, и под бакчи. Я, собственно, на мельницу ездил.

Большая старая овчарка грязно-белого цвета, лохматая, с ключьями шерсти у глаз и носа, стараясь казаться равнодушной к присутствию чужих, раза три покойно обошла вокруг лошади и вдруг неожиданно, с злобным, старческим хрипением бросилась сзади на объездчика, остальные собаки не выдержали и повскакали со своих мест.

– Цыц, проклятая! – крикнул старик, поднимаясь на локте. – А, чтоб ты лопнула, бесова тварь!

Когда собаки успокоились, старик принял прежнюю позу и сказал покойным голосом:

– Ав Ковылях, на самый Вознесеньев день, Ефим Жменя помер. Не к ночи будь сказано, грех таких людей сгадывать, поганый старик был. Небось слышал?

– Нет, не слыхал.

– Ефим Жменя, кузнеца Степки дядя. Вся округа его знает. У, да и проклятый же старик! Я его годов шестьдесят знаю, с той поры, как царя Александра, что француза гнал, из Таганрога на подводах в Москву везли. Мы вместе ходили покойника царя встречать, а тогда большой шлях не на Бахмут шел, а с Есауловки на Городище, и там, где теперь Ковыли, дудачьи гнезды были – что ни шаг, то гнездо дудачье. Тогда еще я заметил, что Жменя душу свою сгубил и нечистая сила в нем. Я так замечаю: ежели который человек мужицкого звания всё больше молчит, старушечьими делами занимается да норовит в одиночку жить, то тут хорошего мало, а Ефимка, бывало, смолоду всё молчит и молчит, да на тебя косо глядит, всё он словно дуется и пыжится, как пивень перед куркою. Чтоб он в церковь пошел, или на улицу с ребятами гулять, или в кабак – не было у него такой моды, а всё больше один сидит или со старухами шепчется. Молодым был, а уж в пасечники да в бакчевники нанимался. Бывало, придут к нему добрые люди на бакчи, а у него арбузы и дыни свистят. Раз тоже поймал при людях шуку, а она – го-го-го-го! захохотала...

– Это бывает, – сказал Пантелей.

Молодой пастух повернулся на бок и пристально, подняв свои черные брови, поглядел на старика.

– А ты слыхал, как арбузы свистят? – спросил он.

– Слышать не слыхал, бог миловал, – вздохнул старик, – а

люди сказывали. Мудреного мало... Захочет нечистая сила, так и в камне свистеть начнет. Перед волей у нас три дня и три ночи скеля¹ гудела. Сам слышал. А щука хохотала, потому Жменя заместо щуки беса поймал.

Старик что-то вспомнил. Он быстро поднялся на колени и, пожимаясь, как от холода, нервно засовывая руки в рукава, залепетал в нос, бабьей скороговоркой:

– Спаси нас, господи, и помилуй! Шел я раз бережком в Новопавловку. Гроза собиралась, и, такая была буря, что сохрани царица небесная, матушка... Поспешаю я что есть мочи, гляжу, а по дорожке, промеж терновых кустов – терен тогда в цвету был – белый вол идет. Я и думаю: чей это вол? Зачем его сюда занесла нелегкая? Идет он, хвостом машет и му-у-у! Только, это самое, братцы, догоняю его, подхожу близко, глядь! – а уж это не вол, а Жменя. Свят, свят, свят! Сотворил я крестное знамение, а он глядит на меня и бормочет, бельмы выпучивши. Испужался я, страсть! Пошли рядом, боюсь я ему слово сказать, – гром гремит, молонья небо полосует, вербы к самой воде гнутся, – вдруг, братцы, накажи меня бог, чтоб мне без покаяния помереть, бежит поперек дорожки заяц... Бежит, остановился и говорит по-человечьи: «Здорово, мужики!» Пошла, проклятая! – крикнул старик на лохматого пса, который опять пошел обходом вокруг лошади. – А, чтоб ты издохла!

– Это бывает, – сказал объездчик, все еще опираясь на

¹ Скала.

седло и не шевелясь; сказал он это беззвучным, глухим голосом, каким говорят люди, погруженные в думу.

– Это бывает, – повторил он глубокомысленно и убежденно.

– У, стервячий был старик! – продолжал старик уже не так горячо. – Лет через пять после воли его миром в конторе посекли, так он, чтобы, значит, злобу свою доказать, взял да и напустил на все Ковыли горловую болезнь. Повымерло тогда народу без счета, видимо-невидимо, словно в холеру...

– А как он болезнь напустил? – спросил молодой пастух после некоторого молчания.

– Известно, как. Тут ума большого не надо, была бы охота. Жменя людей гадючьим жиром морил. А это такое средство, что не то, что от жиру, даже от духу народ мрет.

– Это верно, – согласился Пантелей.

– Хотели его тогда ребята убить, да старики не дали. Нельзя его было убивать: он знал места, где клады есть. А кроме него ни одна душа не знала. Клады тут заговоренные, так что найдешь и не увидишь, а он видел. Бывало, идет бережком или лесом, а под кустами и скелями огоньки, огоньки, огоньки... Огоньки такие, как будто словно от серы. Я сам видел. Все так ждали, что Жменя людям места укажет или сам выроет, а он – сказано, сама собака не ест и другим не дает – так и помер: ни сам не вырыл, ни людям не показал.

Объездчик закурил трубку и на мгновение осветил свои большие усы и острый, строгого, солидного вида нос. Мел-

кие круги света прыгнули от его рук к картузу, побежали через седло по лошадиной спине и исчезли в гриве около ушей.

– В этих местах много кладов, – сказал он.

И, медленно затянувшись, он поглядел вокруг себя, остановил свой взгляд на белеющем востоке и добавил:

– Должны быть клады.

– Что и говорить, – вздохнул старик. – По всему видать, что есть, только, брат, копать их некому. Никто настоящих местов не знает, да по нынешнему времени, почитай, все клады заговоренные. Чтоб его найти и увидеть, талисман надо такой иметь, а без талисмана ничего, паря, не поделаешь. У Жмени были талисманы, да нешто у него, у чёрта лысого, выпросишь? Он и держал-то их, чтоб никому не досталось.

Молодой пастух подполз шага на два к старику и, подперев голову кулаками, устремил на него неподвижный взгляд. Младенческое выражение страха и любопытства засветилось в его темных глазах и, как казалось в сумерках, растянуло и сплющило крупные черты его молодого, грубого лица. Он напряженно слушал.

– Ив писаниях писано, что кладов тут много, – продолжал старик. – Это что и говорить... и говорить нечего. Одному новопавловскому старику солдату в Ивановке ярлык показывали, так в том ярлыке напечатано и про место, и даже сколько пудов золота, и в какой посуде; давно б по этому ярлыку клад достали, да только клад заговоренный, не подступишься.

– Отчего же, дед, не подступишься? – спросил молодой.

– Должно, причина какая есть, не сказывал солдат. Заговоренный... Талисман надо.

Старик говорил с увлечением, как будто изливал перед проезжим свою душу. Он гнусавил от непривычки говорить много и быстро, заикался и, чувствуя такой недостаток своей речи, старался скрасить его жестикуляцией головы, рук и тощих плеч; при каждом движении его холщовая рубаха мялась в складки, ползла к плечам и обнажала черную от загара и старости спину. Он обдергивал ее, а она тотчас же опять лезла. Наконец старик, точно выведенный из терпения непослушной рубахой, вскочил и заговорил с горечью:

– Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Так и пропадает добро задаром, без всякой пользы, как полова или овечий помет! А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа! Дождутся люди, что его паны выроют или казна отберет. Паны уж начали курганы копать... Почуяли! Берут их завидки на мужицкое счастье! Казна тоже себе на уме. В законе так писано, что ежели который мужик найдет клад, то чтоб к начальству его представить. Ну, это погоди – не дожدهшься! Есть квас, да не про вас!

Старик презрительно засмеялся и сел на землю. Объездчик слушал со вниманием и соглашался, но по выражению его фигуры и по молчанию видно было, что всё, что рассказывал ему старик, было не ново для него, что это он давно

уже передумал и знал гораздо больше того, что было известно старику.

– На своем веку я, признаться, раз десять искал счастья, – сказал старик, конфузливо почесываясь. – На настоящих местах искал, да, знать, попадал все на заговоренные клады. И отец мой искал, и брат искал – ни шута не находили, так и умерли без счастья. Брату моему, Илье, царство ему небесное, один монах открыл, что в Таганроге, в крепости, в одном месте под тремя камнями клад есть и что клад этот заговоренный, а в те поры – было это, помню, в тридцать восьмом году – в Матвеевом Кургане армяшка жил, талисманы продавал. Купил Илья талисман, взял двух ребят с собой и пошел в Таганрог. Только, брат, подходит он к месту в крепости, а у самого места солдат с ружьем стоит...

В тихом воздухе, рассыпаясь по степи, пронесся звук. Что-то вдали грозно ахнуло, ударилось о камень и побежало по степи, издавая: «тах! тах! тах! тах!». Когда звук замер, старик вопросительно поглядел на равнодушного, неподвижно стоявшего Пантелея.

– Это в шахтах бадья сорвалась, – сказал молодой, подумав.

Уже светало. Млечный путь бледнел и мало-помалу таял, как снег, теряя свои очертания. Небо становилось хмурым и мутным, когда не разберешь, чисто оно или покрыто сплошь облаками, и только по ясной, глянцевиной полосе на востоке и по кое-где уцелевшим звездам поймешь, в чем дело.

Первый утренний ветерок без шороха, осторожно шевеля молочаем и бурыми стеблями прошлогоднего бурьяна, пробежал вдоль дороги.

Объездчик очнулся от мыслей и встряхнул головой. Обезумными руками он потряс седло, потрогал подпругу и, как бы не решаясь сесть на лошадь, опять остановился в раздумье.

– Да, – сказал он, – близок локоть, да не укусишь... Есть счастье, да нет ума искать его.

И он повернулся лицом к пастухам. Строгое лицо его было грустно и насмешливо, как у разочарованного.

– Да, так и умрешь, не повидавши счастья, какое оно такое есть... – сказал он с расстановкой, поднимая левую ногу к стремени. – Кто помоложе, может, и дождетя, а нам уж и думать пора бросить.

Поглаживая свои длинные, покрытые росой усы, он грузно уселся на лошади и с таким видом, как будто забыл что-то или недосказал, прищурил глаза на даль. В синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось: сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничную степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они все еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой.

Проснувшиеся грачи, молча и в одиночку, летали над землей. Ни в ленивом полете этих долговечных птиц, ни в утре, которое повторяется аккуратно каждые сутки, ни в безграничности степи – ни в чем не видно было смысла. Объездчик усмехнулся и сказал:

– Экая ширь, господи помилуй! Пойди-ка, найди счастье! Тут, – продолжал он, понизив голос и делая лицо серьезным, – тут наверняка зарыты два клада. Господа про них не знают, а старым мужикам, особенно солдатам, до точности про них известно. Тут, где-то на этом кряже (объездчик указал в сторону нагайкой), когда-то во время оно разбойники напали на караван с золотом; золото это везли из Петербурга Петру-императору, который тогда в Воронеже флот строил. Разбойники побили возчиков, а золото закопали, да потом и не нашли. Другой же клад наши донские казаки зарыли. В двенадцатом году они у француза всякого добра, серебра и золота награбили видимо-невидимо. Когда ворочались к себе домой, то прослышали дорогой, что начальство хочет у них отобрать все золото и серебро. Чем начальству так зря отдавать добро, они, молодцы, взяли и зарыли его, чтоб хоть детям досталось, а где зарыли – неизвестно.

– Я слыхал про эти клады, – угрюмо пробормотал старик.

– Да, – задумался опять Пантелей. – Так...

Наступило молчание. Объездчик задумчиво поглядел на даль, усмехнулся и тронул повод все с тем же выражением, как будто забыл что-то или недосказал. Лошадь неохот-

но пошла шагом. Проехав шагов сто, Пантелей решительно встряхнул головой, очнулся от мыслей и, стегнув по лошади, поскакал рысью.

Пастухи остались одни.

– Это Пантелей из Макаровской экономии, – сказал старик. – Полтора ста в год получает, на хозяйских харчах. Образованный человек...

Проснувшиеся овцы – их было около трех тысяч – неохотно, от нечего делать принялись за невысокую, наполовину утопанную траву. Солнце еще не взошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнотзоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей.

Старик нащупал возле себя свою «герлыгу», длинную палку с крючком на верхнем конце, и поднялся. Он молчал и думал. С лица молодого еще не сошло младенческое выражение страха и любопытства. Он находился под впечатлением слышанного и с нетерпением ждал новых рассказов.

– Дед, – спросил он, поднимаясь и беря свою герлыгу, – что же твой брат, Илья, с солдатом сделал?

Старик не расслышал вопроса. Он рассеянно поглядел на молодого и ответил, пошамкав губами:

– А я, Санька, всё думаю про тот ярлык, что в Ивановке солдату показывали. Я Пантелею не сказал, бог с ним, а ведь в ярлыке обозначено такое место, что даже баба найдет. Знаешь, какое место? В Богатой Балочке, в том, знаешь, месте, где балка, как гусятинная лапка, расходится на три балочки; так в средней.

– Что ж, будешь рыть?

– Попытаю счастья...

– Дед, а что ты станешь делать с кладом, когда найдешь его?

– Я-то? – усмехнулся старик. – Гм!.. Только бы найти, а то... показал бы я всем кузькину мать... Гм!.. Знаю, что делать...

И старик не сумел ответить, что он будет делать с кладом, если найдет его. За всю жизнь этот вопрос представился ему в это утро, вероятно, впервые, а судя по выражению лица, легкомысленному и безразличному, не казался ему важным и достойным размышления. В голове Саньки копошилось еще одно недоумение: почему клады ищут только старики и к чему сдалось земное счастье людям, которые каждый день могут умереть от старости? Но недоумение это Санька не умел вылить в вопрос, да едва ли бы старик нашел, что ответить ему.

Окруженное легкою мутию, показалось громадное багро-

вое солнце. Широкие полосы света, еще холодные, купаясь в росистой траве, потягиваясь и с веселым видом, как будто стараясь показать, что это не надоело им, стали ложиться по земле. Серебристая полынь, голубые цветы свинячей цибульки, желтая сурепа, васильки – все это радостно запестрело, принимая свет солнца за свою собственную улыбку.

Старик и Санька разошлись и стали по краям отары. Оба стояли, как столбы, не шевелясь, глядя в землю и думая. Первого не отпускали мысли о счастье, второй же думал о том, что говорилось ночью; интересовало его не самое счастье, которое было ему не нужно и непонятно, а фантастичность и сказочность человеческого счастья.

Сотня овец вздрогнула и в каком-то непонятном ужасе, как по сигналу, бросилась в сторону от отары. И Санька, как будто бы мысли овец, длительные и тягучие, на мгновение сообщились и ему, в таком же непонятном, животном ужасе бросился в сторону, но тотчас же пришел в себя и крикнул: – Тю, скаженные! Перебесились, нет на вас погибели!

А когда солнце, обещая долгий, непобедимый зной, стало припекать землю, всё живое, что ночью двигалось и издавало звуки, погрузилось в полусон. Старик и Санька со своими герлыгами стояли у противоположных краев отары, стояли не шевелясь, как факиры на молитве, и сосредоточенно думали. Они уже не замечали друг друга, и каждый из них жил своей собственной жизнью. Овцы тоже думали...

Женское счастье

Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина. К дому покойника, где гудела похоронная музыка и раздавались командные слова, со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами.

– Нельзя-с! – остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. – Не-ельзя-с! Пра-ашу немножко назад! Господа, ведь это не от нас зависит! Прошу назад! Впрочем, так и быть, дамы могут пройти... пожалуйста, mesdames, но... вы, господа, ради бога...

Жены Пробкина и Свисткова зарделись от неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цепь, а мужья их остались по сю сторону живой стены и занялись созерцанием спин пеших и конных блюстителей.

– Пролезли! – сказал Пробкин, с завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дам. – Счастье, ей-богу, этим шиньонам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как ихнему, дамскому. Ну, что вот в них особенного? Женщины, можно сказать, самые обыкновенные, с предрасудками, а их пропустили; а нас с тобой, будь мы хоть статские советники, ни за что не пустят.

– Странно вы рассуждаете, господа! – сказал помощник пристава, укоризненно глядя на Пробкина. – Впусти вас, так вы сейчас толкаться и безобразить начнете; дама же, по своей деликатности, никогда себе не позволит ничего подобного!

– Оставьте, пожалуйста! – рассердился Пробкин. – Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и глядит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтоб ее нарядов не помяли. Говорить уж нечего! Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщин и в солдаты не берут, и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают... А за какие, спрашивается, заслуги? Девушка платок уронила – ты поднимай, она входит – ты вставай и давай ей свой стул, уходит – ты провожай... А возьмите чины! Чтоб достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить, а девушка в какие-нибудь полчаса обвенчалась со статским советником – вот уж она и персона. Чтоб мне князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, Шипку взять, в министрах побывать, а какая-нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутит перед графом шлейфом, пощурит глазки – вот и ваше сиятельство... Ты сейчас губернский секретарь... Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл; а твоя Марья Фоминишна? За что она губернская секретарша? Из поповен и прямо в чиновницы. Хороша чиновница! Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящие.

– Зато она в болезнях чад родит, – заметил Свистков.

– Велика важность! Постояла бы она перед начальством, когда оно холоду напускает, так ей бы эти самые чада удовольствием показали. Во всем и во всем им привилегия! Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпалить, чего ты и при экзекуторе не посмеешь сказать. Да... Твоя Марья Фоминишна может смело со статским советником под ручку пройти, а возьми-ка ты статского советника под руку! Возьми-ка попробуй! В нашем доме, как раз под нами, брат, живет какой-то профессор с женой... Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет, а то и дело слышишь, как его жена чешет: «Дурак! дурак! дурак!» А ведь баба простая, из мещанок. Впрочем, тут законная, так тому и быть... испокон века так положено, чтоб законные ругались, но ты возьми незаконных! Что эти себе дозволяют! Во веки веков не забыть мне одного случая. Чуть было не погиб, да так уж, знать, за молитвы родителей уцелел. В прошлом году, помнишь, наш генерал, когда уезжал в отпуск к себе в деревню, меня взял с собой, корреспонденцию вести... Дело пустяковое, на час работы. Отработал свое и ступай по лесу ходить или в лакейскую романсы слушать. Наш генерал – человек холостой. Дом – полная чаша, прислуги, как собак, а жены нет, управлять некому. Народ все распущенный, непослушный... и над всеми командует баба, экономка Вера Никитишна. Она и чай наливает, и обед заказывает, и на лакеев кричит... Баба, братец

ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит. Толстая, красная, визгливая... Как начнет на кого кричать, как поднимет визг, так хоть святых выноси. Не так руготня донимала, как этот самый визг. О господи! Никому от нее житья не было. Не только прислугу, но и меня, бестия, задираала... Ну, думаю, погоди; улучу минутку и все про тебя генералу расскажу. Он погружен, думаю, в службу и не видит, как ты его обкрадываешь и народ жуешь, постой же, открою я ему глаза. И открыл, брат, глаза, да так открыл, что чуть было у самого глаза не закрылись навеки, что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору и вдруг слышу визг. Сначала думал, что свинью режут, потом же прислушался и слышу, что это Вера Никитишна с кем-то бранится: «Тварь! Дрянь ты этакая! Черт!» – «Кого это?» – думаю. И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь и из нее вылетает наш генерал, весь красный, глаза выпученные, волосы, словно черт на них подул. А она ему вслед: «Дрянь! Черт!»

– Врешь!

– Честное мое слово. Меня, знаешь, в жар бросило. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре и, как дурак, ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смерд – и вдруг позволяет себе такие слова и поступки! Это значит, думаю, генерал хотел ее расчитать, а она воспользовалась тем, что нет свидетелей, и отчеканила его на все корки. Все одно, мол, уходить! Взорвало меня... Пошел я к ней в комнату и говорю: «Как ты смела, негодница, говорить такие слова

высокопоставленному лицу? Ты думаешь, что как он слабый старик, так за него некому вступиться?» – Взят, знаешь, да и смазал ее по жирным щекам разика два. Как подняла, братец ты мой, визг, как заорала, так будь ты трижды неладна, унеси ты мое горе! Заткнул я уши и пошел в лес. Этак часика через два бежит навстречу мальчишка. «Пожалуйста к барину». Иду. Вхожу. Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит. «Вы что же, говорит, это у меня в доме выстраиваете?» – «То есть как? – говорю. – Ежели, говорю, это вы насчет Никитишны, ваше-ство, то я за вас же вступился». – «Не ваше дело, говорит, вмешиваться в чужие семейные дела!» – Понимаешь? Семейные! И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал печь – чуть я не помер! Говорил-говорил, ворчал-ворчал, да вдруг, брат, как захохочет ни с того ни с сего. «И как, говорит, это вы смогли?! Как это у вас хватило храбрости? Удивительно! Но надеюсь, друг мой, что все это останется между нами... Ваша горячность мне понятна, но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно...» – Вот, брат! Ему даже удивительно, как это я смог такую важную паву побить. Слепила баба! Тайный советник, Белого Орла имеет, начальства над собой не знает, а бабе поддался... Ба-альшие, брат, привилегии у женского пола! Но... снимай шапку! Несут генерала... Орденов-то сколько, батюшки светы! Ну, что, ей-богу, пустили дам вперед, разве они понимают что-нибудь в орденах?

Заиграла музыка.

Перед свадьбой

В четверг на прошлой неделе девица Подзатылкина в доме своих почтенных родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева. Сговор сошел как нельзя лучше. Выпито было две бутылки ланинского шампанского, полтора ведра водки; барышни выпили бутылку лафита. Папаши и мамы жениха и невесты плакали вовремя, жених и невеста целовались охотно; гимназист восьмого класса произнес тост со словами: «O tempora, o mores!»² и «Salvete, boni futuri conjuges!»³ – произнес с шиком; рыжий Ванька Смыслomalов, в ожидании вынуждения жребия ровно ничего не делающий, в самый подходящий момент, в «самый раз» ударился в страшный трагизм, взъерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком себя по колену и воскликнул: «Черт возьми, я любил и люблю ее!» – чем и доставил невыразимое удовольствие девицам.

Девица Подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем – ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная: нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепьяне умеет, но без нот; мамаше на кухне помогает, без корсета не ходит, пост-

² О времена, о нравы! (*лат.*).

³ Да здравствуют будущие добрые супруги! (*лат.*)

ного кушать не может, в уразумении буквы «G» видит начало и конец всех премудростей и больше всего на свете любит статных мужчин и имя «Роланд».

Господин Назарьев – мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалованье получает тщедушное, едва на табак хватяющее; вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется; когда говорит – брызжет. Франтит, на родителей смотрит свысока и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей: «Как вы наивны! Вы бы читали литературу!» Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя, и в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай внакладку и с остервенением отрицает чертей.

Вот каковы девица Подзатылкина и господин Назарьев!

На другой день после сговора, утром, девица Подзатылкина, восстав от сна, была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша, лежа на кровати, прочла ей следующую нотацию:

– С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы нонче и в барежевом походить. Голова-то как болит, ужась! Вчера лысая образина, твой отец то есть, изволил пошутить. Нужны мне его шутки дурацкие! Подносит это мне что-то в рюмке... «Выпей», говорит. Думала, что в рюмке вино, – ну, и выпила, а в рюмке-то был уксус с

маслом из-под селедочек. Это он пошутил, пьяная образина! Срамить только, слюнявый, умеет! Меня сильно изумляет и удивляет, что ты вчера веселая была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли? Удивляюсь! Всякий и подумал, что ты рада родительский дом оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь? Какая там любовь? И во все ты не по любви идешь за своего, а так, за чином его погналась! Что, разве неправда? То-то, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно занослив и горделив. Ты его осадил... Что-о-о-о? И не думай!.. Через месяц же драться будете: и он таковский, и ты таковская. Замужество только девицам одним нравится, а в нем ничего нет хорошего. Сама испытала, знаю. Поживешь – узнаешь. Не вертись так, у меня и без того голова кружится. Мужчины все дураки, с ними жить не очень-то сладко. И твой тоже дурак, хоть и высоко голову держит. Ты его не больно-то слушайся, не потакай ему во всем и не очень-то уважай: не за что. Обо всем мать спрашивай. Чуть что случится, так и иди ко мне. Сама без матери ничего не делай, боже тебя сохрани! Муж ничего доброго не посоветует, добру не научит, а все норовит в свою пользу. Ты это знай! Отца также не больно слушай. К себе в дом не приглашай жить, а то ты, пожалуй, чего доброго, сдур... и ляпнешь. Он так и норовит с вас стянуть что-нибудь. Будет у вас сидеть по целым дням, а на что он вам сдался? Водки будет просить да мужнин табак курить. Он скверный и вредный человек, хоть и отец тебе. Лицо-то у него, негод-

ника, доброе, ну, а душа зато страсть какая ехидная! Занимать денег станет – не давайте, потому что он жулик, хоть он и тютюлярный советник. Вон он кричит, тебя зовет! Ступай к нему, да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила. А то сейчас пристанет, изверг рода христианского, горой его положь! Ступай, покедова у меня сердце на месте!.. Враги вы мои! Умру, так попомните слова мои! Мучители!

Девушка Подзатылкина оставила мать свою и отправилась к папаше, который сидел в это время у себя на кровати и посыпал свою подушку персидским порошком.

– Дочь моя! – сказал ей папаша. – Я очень рад, что ты намерена сочетаться с таким умным господином, как господин Назарьев. Очень рад и вполне одобряю сей брак. Выходи, дочь моя, и не страшись! Брак это такой торжественный факт, что... ну, да что там говорить? Живи, плодись и размножайся. Бог тебя благословит! Я... я... плачу. Впрочем, слезы ни к чему не ведут. Что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Выслушай же, дочь моя, совет мой! Не забывай родителей своих! Муж для тебя не будет лучше родителей, право, не будет! Мужу нравится одна только твоя материальная красота, а нам ты вся нравишься. За что тебя будет любить муж твой? За характер? За доброту? За эмблему чувств? Нет-с! Он будет любить тебя за приданое твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а ровно тысячу рублей! Ты это понять должна! Господин Назарьев весьма хороший

господин, но ты его не уважай паче отца. Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Будут моменты, когда он... Нет, умолчу лучше, дочь моя!

Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двулично-вольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особа, но... шут с ней! Она тебе того посоветовать не может, что советует тебе отец твой, бытия твоего виновник. В дом свой ее не бери. Мужья тещей не обожают. Я сам не любил своей тещи, так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофей жженой пробочки, отчего выходили весьма презентабельные проферансы. Подпоручик Зюмбумбунчиков военным судом за тещу судился. Разве не помнишь сего факта? Впрочем, тебя еще тогда на свете не существовало. Главное во всем и везде отец. Это ты знай и одного его только и слушай. Потом, дочь моя... Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада! Чем больше у родителей детей, тем лучше. Впрочем, нет! Нето! Совсем наоборот! Я ошибся, душенька. Чем меньше детей, тем лучше. Это я вчера читал в одной журналистике. Какой-то Мальтус сочинил. Так-то... Кто-то подъехал... Ба! Да это жених твой! С шиком, канашка, шельмец этакой! Ай да мужчина! Настоящий Вальтер Скотт! Пойди, душенька, прими его, а я пока оденусь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.